

Евгений Маурин

МОГИЛЬНЫЙ ЦВЕТОК



Приключения Аделаиды Гюс

Евгений Маурин

МОГИЛЬНЫЙ ЦВЕТОК

«Public Domain»

1899

Маурин Е. И.

Могильный цветок / Е. И. Маурин — «Public Domain»,
1899 — (Приключения Аделаиды Гюс)

«Я, Гаспар Тибо Лебеф, пишу эти воспоминания в назидание молодому поколению. Я стар, много видел, много пережил, перестрадал, и теперь смерть так близко витает около меня, что по временам я даже слышу змеиное шуршание ее ласковых крыльев. Что же, я с тихой радостью жду свою последнюю гостью: в девяносто два года жизнь представляется далеко не таким благом, как в шестнадцать. И одно только удерживает меня, заставляет цепляться за остаток дней. Ну хорошо! Я умру – туда мне и дорога, одинокому, запоздавшему путнику; но ведь вместе со мною умрет все пережитое, вместе со мною истлеет жизненный опыт, доставшийся такой тяжелой ценой!..»

Содержание

Глава первая	5
I	5
II	6
III	8
IV	11
V	16
VI	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Евгений Маурин

МОГИЛЬНЫЙ ЦВЕТОК

Глава первая

I

Я, Гаспар Тибо Лебеф, пишу эти воспоминания в назидание молодому поколению. Я стар, много видел, много пережил, перестрадал, и теперь смерть так близко витает около меня, что по временам я даже слышу змеиное шуршание ее ласковых крыльев. Что же, я с тихой радостью жду свою последнюю гостью: в девяносто два года жизнь представляется далеко не таким благом, как в шестнадцать.

И одно только удерживает меня, заставляет цепляться за остаток дней. Ну хорошо! Я умру – туда мне и дорога, одинокому, запоздавшему путнику; но ведь вместе со мною умрет все пережитое, вместе со мною истлеет жизненный опыт, доставшийся такой тяжелой ценой!

Да, много блестящих, величественных и ужасных картин прошло перед моими глазами. Безудержная роскошь Людовика XV, трагедия Людовика XVI, пострадавшего за грехи предков, дни террора и безумия, искрометная карьера Наполеона, его слава и падение, неистовство «союзников», явившихся восстанавливать чуждых и им, и нам Бурбонов, июльская революция – всему этому был я свидетелем. А Екатерина II, Густав III, Христиан VII, блеск их дворов, пышность их жизни!

Но не в этих полных суетного тщеславия картинах заключено то, что мне хотелось бы передать потомству, что еще приковывает меня к жизни. Моя душа уже давно мертва, и не прельщают ее образы земного величия. Все – прах и суета, все – обманная мишура... Нет, моя личная печальная судьба да послужит молодежи предостережением, и о ней-то я и хочу рассказать. За краткие минуты чувственного наслаждения я поплатился всей жизнью; неосторожная, преступная клятва сделала меня рабом разнузданной женщины, той самой, что подобно могильному цветку пышно разрослась на гнойнике монархии. И вот что я теперь!.. Труп, обреченный одновременно и на загробные муки, и на терзания земной жизни.

В назидание молодому поколению я, Гаспар Тибо Лебеф, расскажу, как это случилось и что из этого произошло. Вся моя жизнь, тесно связанная с жизнью злосчастной Аделаиды Гюс, пройдет перед глазами читателя. По большей части прошлое живо стоит перед моими глазами, но да простится мне, если кое-что затуманилось в памяти. Я стар, могу спутаться в мелких деталях, фактах и числах. Что за беда, если бесспорным и верным останется тот вывод, ради которого я и предпринял эту непосильную в моем возрасте работу?

Итак, с Богом!.. Впрочем, сначала еще одна оговорка, читатель: многое из того, о чем я расскажу здесь в последовательном порядке, стало мне известно из сообщений других лиц, и иногда я узнавал о них только через несколько лет после происшедшего. Все равно, ради удобства воспоминаний и связности рассказа, я буду описывать события не в том порядке, как они мне раскрывались, а как они происходили на самом деле, и связывать лично виденное с тем, что узнал впоследствии.

Однако все оговорки да оговорки! Вот что значит старость: бродишь вокруг да около и никак не приступишь к делу! Так с Богом! Прими, о юный читатель, эту правдивую исповедь наболевшего сердца и извлеки из нее тот урок, которого так недостает твоей неопытности. «Женщина – исчадие ада!» Да сопутствует тебе это изречение святых отцов на всех путях твоих!

II

Ни отца, ни матери я никогда не знал, так как оба они трагически погибли вскоре после моего рождения. Отец умер потому что, спасая из пожара люльку с дорогим ему новорожденным, сам получил тяжкие ожоги, а мать не могла перенести смерть отца и в припадке тоски повесилась. Таким образом я с шестимесячного возраста оказался на попечении двоюродного брата отца, аббата Дюпре, служившего в предместье тихого приморского городка Лориен (в Бретани).

С самого детства океан глубоко волновал меня, принося вместе с прибоем волн какие-то смутные грезы и желания. Мне казались невыносимыми тишина и бледность моей жизни, и мечта звала куда-то вдаль, в неизведанные страны, к новым, ярким впечатлениям. Да, так было тогда, а теперь, вспоминая свою жизнь, я думаю, что у меня не было времени счастливее детских лет в тихом, милом Лориене.

Дядя-аббат заставлял меня много и серьезно заниматься. Сам он был человеком всесторонне образованным и сумел заинтересовать учением и меня. В двенадцать лет я совершенно бегло читал по-латыни и свободно понимал без словаря кодекс Юстиниана, не говоря уже о том, что Плутарх, Цицерон, Корнелий Непот, Геродот, Овидий и прочие корифеи латинской и греческой литературы были моими интимными друзьями. Вообще я, должен сознаться, был странным ребенком. Словно жил вне жизни: книги и смутные мечты, навеваемые мне океаном, составляли все мое существование.

Шли дни, складываясь в недели и месяцы; уносились месяцы, складываясь в годы. Казалось, что жизнь всегда будет идти так же ровно, серо, бесцветно и никогда не сбудутся мои яркие мечты. И вдруг они осуществились, осуществились так просто, как это бывает с важнейшими поворотными пунктами.

Это было осенью 1759 года, когда мне исполнилось пятнадцать лет. Уже с утра я видел, что дядя-аббат чем-то взволнован, что-то хочет сказать мне, но не может решиться. Я заранее волновался, но старался не подавать вида, что волнуюсь. Наконец вечером дядя позвал меня к себе в кабинет и заговорил, взволнованно расхаживая крупными шагами взад и вперед по комнате:

– Гаспар, теперь ты – уже почти юноша... Представляешь ли ты себе, что такое жизнь и что она требует от нас?

Я молчал, смущенный этим неожиданным вступлением.

Тогда дядя продолжал, видимо все более волнуясь:

– Ну, да, ты не знаешь, ты не можешь ответить... В этом моя вина: я слишком долго держал тебя возле себя! Разве монах знает жизнь? И разве можно научить другого тому, чего не знаешь сам? Я честно старался вооружить тебя как можно лучше на борьбу за жизнь, но... – Он опять замолчал, продолжая расхаживать по комнате. – Ну, словом, – продолжал он через некоторое время, – тебе нельзя долее оставаться здесь. Я стар, могу умереть каждую минуту; что же будет с тобой тогда? Ты много знаешь, ты развит и образован не по летам, но ведь жизнь требует практического применения знаний. Знать мало – надо уметь. А ты ничего не умеешь...

Я продолжал молчать, охваченный каким-то тревожным, сладким предчувствием. Жизнь... мне предстоит вступить в нее? Но, Боже мой, ведь в этом-то и была конечная цель моих смутных по своим реальным очертаниям, но ярких своими надеждами грез!

Дядя уселся в кресло и продолжал уже спокойнее:

– Говоря попросту, тебе надо избрать себе профессию. Прежде я думал, что ты пойдешь по моим стопам и станешь священником. Но, наблюдая за тобой, я убедился, что ты не годишься для пастырского призвания. Под внешней мечтательностью и кротостью в тебе таится скрытый мятеж души... Что же, и в светской жизни можно спастись, но горе тому, кто

принимает пастырский обет, не будучи в силах в полной мере сдержать его. Нет, иди в жизнь, сын мой, иди в жизнь!

Но ведь я ничего лучшего и не желал тогда!

– Теперь, – продолжал дядя, – я должен познакомить тебя с твоими семейными обстоятельствами. До сих пор ты думал, что у тебя нет других родственников, кроме меня. И правда, с отцовской стороны их у тебя нет, но зато остались родственники со стороны матери. Должен сказать, что твоя мать происходила из родовитой буржуазии: она – урожденная Капрэ. Отец твоей матери был против ее брака с мелким дворянином, но, подчиняясь голосу страсти, она тайком бежала и обвенчалась с твоим отцом.

Я не хочу осуждать твоих родителей – для этого я слишком любил их, да и они сами были слишком хорошими людьми. Но по их судьбе видно, что гневящий отца гневит Бога: печальная участь твоих родителей тебе известна! Так или иначе, но отец твоей матери не простил ее брака и вычеркнул ее из своей жизни. Года два тому назад он умер, оставив все свое состояние и нотариальную контору сыну Пьеру, твоему родному дяде. Я написал Пьеру Капрэ о тебе и вчера получил от него ответ. Дядя согласен взять тебя к себе на службу, но не на правах родственника, а как постороннего: он хочет сначала убедиться, достоин ли ты его забот. Имей в виду, что твой дядя бездетен... Ну, да это – дело будущего. А сейчас важно только то, что тебе надо отправиться к дяде в Париж!

В Париж! У меня сердце остановилось от восторга! В Париж, где кипит истинная жизнь!

– В Париж? – повторил я. – Но когда же?

– Не стоит терять времени, – ответил дядя-аббат. – Годы не ждут, ты и так ты засиделся. Омнибус отходит завтра в три часа дня, вот и отправляйся. А теперь иди к себе, сын мой. Завтра утром мы с тобой еще поговорим об этом, а теперь дай мне помолиться и подумать.

Почти не помня себя от радости, я вышел из кабинета, выбрался во двор и стал обходить церковные постройки, садик, тихую обсаженную деревьями улицу. Я прощался с милыми местами, но во мне не было скорби и сожаления: моя душа ликовала, пела, носилась в сладостном вихре упоенья. И только тогда, когда я незаметно очутился около старой серенькой церковки, что-то подхватило меня, я упал на колени и стал горячо молиться, чтобы Господь благословил меня на новый путь...

Должно быть, я все-таки плохо молился тогда, так как Господу не угодно было принять мои молитвы!

III

Не буду много говорить о моем парижском дяде и о том, как он принял меня. Ведь ему пришлось играть слишком маленькую роль в моей жизни, а мне еще надо так много рассказать вам! Поэтому скажу просто, что дядя по отношению ко мне сразу взял строго официальный тон. Он принял меня к себе на службу, четко определив мои обязанности и обусловив мое вознаграждение: столько-то в первые два года, столько-то на третий и т. д. Вне этого он ничего не хотел знать. Даже жить я должен был отдельно, хотя у господина Капрэ нашлось бы в доме достаточно места даже и для пяти родных племянников.

И началась моя парижская жизнь. С утра до вечера я торчал в конторе, занимался актами и законами, законами и актами, а по окончании занятий шел обедать в дешевенький кабачок, и если была хорошая погода – гулял немного; а потом отправлялся к себе в комнатку спать. И в праздничные дни моя жизнь была тихой и скромной: единственным моим развлечением были прогулки за город. Достаточно сказать, что я даже не проживал скудных грошей, полагавшихся мне в виде жалованья.

Так прошли два года, и мне стукнуло семнадцать лет. Я был еще совершенно чист, скромн, застенчив, словно девушка. Несмотря на соблазны одинокой жизни, несмотря на заигрывания и авансы соседок-гризеток, я еще не знал женщин. Быть может, удержись я в этой чистоте, и не случилось бы со мной того, что испортило мне в последствии всю жизнь. Но случая угодно было пробудить во мне мужчину, – и, потеряв свою чистоту, я стал уже более чувствителен к женскому влиянию. Вот о своем первом падении я и хочу сначала рассказать вам.

Не помню уже, где и как мне пришлось однажды слышать старое еврейское предание. Языческий царь призвал к себе троих еврейских праведников и приказал им совершить какой-нибудь из трех грехов по их выбору: согрешить с язычницами – рабынями короля, напиться пьяными или вкусить нечистого, тrefного мяса. Праведники рассудили, что из всех трех грехов самым невинным будет опьянение, и выпили добрую амфору крепкого вина. Но опьянев, они потеряли меру добра и зла и уже без всякого принуждения принялись есть нечистое мясо и грешить с рабынями. Таким образом, говорит талмудистское предание, вино – самое худшее из зол, потому что оно включает в себе все остальные.

Вот и я своим падением был обязан вину. Однажды я расхворался, и мои соседи – две модистки, Роза и Клара, мелкая актриса Сесиль, студент Пьер и художник Анри – так мило отнеслись ко мне, так заботливо ухаживали за мной, что я решил по своему выздоровлении отблагодарить их маленьким пиршеством в соседнем кабачке. А тут еще подоспело окончание срока моего ученья в конторе у дяди и поступление в штат, что было сопряжено со значительным увеличением жалованья. Таким образом предлог для пирушки со всех сторон казался как нельзя более подходящим.

Все предвещало удачу нашей пирушке. Мои приятели постоянно бывали веселы и готовы были хохотать даже тогда, когда им нечего было есть; поэтому можно представить себе их настроение в виду предстоящего удовольствия. Я же с утра был в восторженном состоянии. Еще бы! Дядя поздравил меня с окончанием периода ученья и в первый раз пригласил к себе обедать. За обедом он выразил мне удовольствие по поводу моего старания, скромности и способностей, высказал надежду, что мое будущее обеспечено, и подарил немного денег. Опьяненный радостью и стаканчиком старого вина, который пришлось выпить за обедом, я радостно полетел домой к своим друзьям.

Ужин удался на славу. Молодые люди шалили, словно дети, и я сам, обычно застенчивый и скромный, не отставал от них. С каждой новой бутылкой вина настроение у меня все повышалось, манеры становились все развязнее и... в голове у меня все сильнее туманилось и кружилось. Сознание происходящего шло какими-то скачками, так все и запечатлелось у меня в

памяти: отдельные сценки представляются мне очень ясно, но, что было между ними, я совершенно не помню теперь, как не помнил и в дни, следовавшие непосредственно за пирушкой.

Три сцены представляются мне особенно ярко и рельефно. Роза сидит на коленях у Анри и страстно обнимает его, Клара и Пьер возятся в углу на диване, словно котята, щекочут друг друга, хохочут, пищат, а я и Сесиль сидим близко-близко друг от друга, ее нога чуть-чуть касается моей, ее взгляд тонет в моих расширенных зрачках, и от этого прикосновения, от этого томного, жаждущего греха, обволакивающего взгляда по телу у меня пробегают колющие искорки. Воспоминания бурным ураганом крутятся в мозгу. Вспоминаются мирная жизнь в тихом Лориене, беспокойные грезы, навеваемые прибоем волн, спокойная жизнь в Париже, столь далекая от прежних мечтаний и надежд... И мозг острой молнией пронзает безумно-сладостная мысль: в этом взгляде, в этом прикосновении все оправдание, разрешение, осуществление детских грез... А Сесиль пригибается совсем близко к моему лицу и что-то шепчет Что?

Волны тумана сгущаются и заслоняют дальнейшее.

Потом они снова разрываются. Розы и Анри уже нет, Клара и Пьер в судорожном объятии сплелись и замерли в уголке дивана. Тускло горят свечи, освещая залитый вином стол. Я и Сесиль стоим совсем близко от двери. Сесиль нежно тянет меня за руку и шепчет:

– Пусть их себе! Что нам до них? Идем же, мальчик мой, идем, я так люблю тебя!

Жгучая струя хлынула в мой мозг и пеленой красного тумана снова поглотила дальнейшее. И в третий раз разрывается туман, чтобы выявить передо мной картину, которая заставляет низко-низко опускаться мою седую голову.

Мы одни в комнате Сесиль. Воздух душен и пропитан странным ароматом. Что это – запах ли духов, или благоухание чего-то мне неизвестного? Еще сильнее кружится голова... Сесиль медленно протягивает руки, обвивает меня ими, привлекает к себе, не отрывая от меня взгляда расширенных глаз, и мы сливаемся в бесконечном, страстном поцелуе...

Ночь любви! Сколько очарования в этих двух словах! Но это очарование было бы еще больше, еще победнее, если бы за ночью любви, как и за всякой другой, не следовало утро!

И оно наступило, мое утро.

Маленькая грязная комната. Платье и белье, беспорядочно разбросанные, как попало. Не очень молодая, сильно пожившая женщина с увядшими формами и желтым помятым лицом. И сам я, какой-то запачканный, опозоренный, еле сдерживающий горькие рыдания, ошипанный птенчик.

Много дурных минут переживал я в жизни, но не помню, чтобы какая-нибудь другая сравнилась по остроте презрения к себе с минутой этого пробуждения!

Моя связь с Сесиль на этом и закончилась – тому была целая совокупность причин, из которых каждой в отдельности было уже совершенно достаточно. Сесиль жила любовью, и театр являлся для нее только своего рода бульваром, как говорят теперь, в XIX веке. Как женщина не первой молодости (ей было около тридцати, а ведь для девушки, начавшей жизнь с четырнадцати лет, это – почтенный возраст), она могла забыться на минуту, отдаться капризу, но не подчинить последнему всю свою жизнь. А что был я для нее? На роль постоянного друга сердца, которого удаляют, когда является «хлебный» клиент, я не годился; содержать Сесиль я не мог. Она сорвала с меня цвет моей чистоты и удовольствовалась этим.

Да и сам я был готов на что угодно, только не на продолжение нашей связи: с этой ночью для меня было связано представление о таком непреодолимом омерзении, какого я никогда потом не испытывал.

В первые минуты после своего падения я готов был убить себя с отчаяния; но потом это ощущение сгладилось, и время от времени я с легким сердцем шел искать чувственных удовольствий у доступных женщин. В том-то и был весь ужас первого падения: оно пробудило во мне зверя-мужчину, уже не свободного от реальных грез и желаний.

Хотя связь с Сесиль распалась сама собой, но мне была невыносима мысль жить близко от нее, под одной кровлей. Я переехал в комнату на улице Фоссэ-Сэн-Жермен, которую теперь называют улицей д'Ансьен-Комеди. Ввиду того, что в то время на этой улице помещался старейший французский театр «Комеди Франсэз», большинство домов там разбивалось на комнаты, а не на квартиры. И я зажил среди самой пестрой обстановки, среди номадов искусства – комедиантствующей братии Парижа. Сесиль, игравшая в «Комеди Франсэз», изредка навещала меня, но чисто по-дружески, и ничто в ее обращении не давало и тени намека на наш прошлый эпизод. Случалось, что она занимала у меня деньги, когда дела шли плохо; бывало, она заходила за мной, чтобы дать мне возможность даром посмотреть представление. Вообще редко даже мужчины так дружат между собой, как дружили я и Сесиль. Но как чисты ни были теперь наши отношения, а нечистое прошлое нашей дружбы сделало свое дело. Я уже был не юношей, а мужчиной, которому вскоре пришлось поплатиться за свое пробуждение.

IV

Однажды под вечер, в праздник, я вышел из дома купить себе чего-нибудь на ужин. Стояла такая дивная погода, что мне жалко было сразу же возвращаться, и я решил немного прогуляться. По дороге я встретил кого-то из приятелей, мы гуляли довольно долго, а потом зашли поужинать в кабачок. Была уже ночь, когда я возвращался на улицу Фоссэ, помахивая пакетиком с напрасно купленными ветчиной и хлебом. Я был в отличнейшем настроении и весело насвистывал залихватскую уличную песенку. Вдруг она сразу замерла на моих устах: подойдя к двери, я вспомнил, что оставил дома ключ от коридора!

В доме, где я жил, оба верхних этажа, сдававшихся под комнаты, имели отдельный вход, при котором никакого консьержа не полагалось: дверь в коридор запиралась около одиннадцати часов вечера, и запоздавшие жильцы отпирали их своим ключом. Но ведь я, выходя из дома, не предполагал, что загуляю до такого позднего часа, а потому и не взял с собой ключа. Как же мне быть теперь и как попасть к себе?

Я присел на скамейку и стал раздумывать, меланхолически любуясь зеленоватыми бликами, щедро рассыпанными по фасаду противоположных домов полной луной. Да, ночь стояла дивная, и улица казалась очень красивой в мистических лучах Селены. Тем не менее любоваться этими красотами до утра мне вовсе не улыбалось.

И вдруг я вспомнил, что в наш коридор имеется еще другой вход с лестницы, где расположены двери дешевеньких квартир, заполнявших нижние этажи. Правда, чтобы пробраться к этому ходу, надо было сначала проникнуть через ворота, которые тоже запирались с наступлением ночи, но перемахнуть через забор было не так уж трудно для моих семнадцати лет. Не раздумывая далее, я решил осуществить свою мысль.

Через забор я перебрался без всяких затруднений и оживленно зашагал по лабиринту грязного двора. Вот я и у лестницы! Только бы не попасть в чужое помещение и через несколько минут я буду у цели!

По грязной, скользкой лестнице приходилось взбираться с осторожностью – при малейшей поспешности нога могла подвернуться, а падение в этой темноте обещало мало хорошего. Тем не менее я поднимался довольно быстро, тщательно отсчитывая этажи. Наконец я очутился на довольно широкой площадке, от которой боковая лестница в несколько кривых ступеней вела к заднему выходу комнатного коридора. Из довольно большого разбитого окна площадки широким потоком лился мягкий лунный свет, позволяя ориентироваться с большей уверенностью. Ура! Я не ошибся: еще несколько шагов – и я буду дома!

Я уже занес ногу, чтобы преодолеть последние три ступеньки, отделявшие меня от коридора, как вдруг тихий плач, послышавшийся откуда-то со стороны, заставил меня остановиться и прислушаться. Да, кто-то тихо всхлипывал совсем близко от меня. Но где? Как раз в тот момент, когда я стал осматриваться по сторонам, плач прекратился. Пожав плечами, я снова занес ногу, но в этот момент опять послышалось жалобное всхлипыванье. Теперь я ясно слышал, что плач раздавался из дверцы направо. Там был небольшой чуланчик, и в этом-то чуланчике плакал неизвестный ребенок.

Дети от малых лет и по сию пору остаются моей слабостью. Как бы дурен, капризен, зол ни был ребенок, я никогда не мог понять, как же можно заставить плакать маленького человека? Ведь он еще наплачется в жизни! Словом, поняв, что это плачет ребенок, я сейчас же направился к чуланчику и открыл дверь, тотчас впуская поток лунных лучей. В первый момент мне показалось, что в чуланчике никого нет, но, приглядевшись, я заметил в углу какую-то скорчившуюся фигурку, притаившуюся и со злобой испуганного зверька глядевшую на меня.

Я сделал несколько шагов вперед. Фигурка еще глубже забила в угол, и сдавленный голос угрожающе прошипел: «Только подойди!.. Только тронь!.. Я-те глаза выцарапаю!» – и дикое существо протянуло вперед руки, растопырив и скрючив худые, бледные пальцы.

– Полно! – спокойно и ласково сказал я, – разве я хочу тебе зла, девочка? Просто я услышал твой плач и подумал, не могу ли я чем-нибудь помочь твоему горю. Ну, расскажи же мне, кто ты такая и отчего ты плачешь?

Ласка моих слов сделала свое дело. Девочка закрыла руками лицо и сквозь рыдания сказала:

– Ах, я так боюсь, так боюсь... Что-то скрипит, что-то стонет... И крысы бегают! Я заснула немножко, а они принялись возиться и скакать через меня... И есть-то мне хочется, просто моченьки нет, просто все нутро свело...

– Да откуда ты? как ты сюда попала? – воскликнул я, не зная, что и думать относительно странного положения этого ребенка.

– Я живу внизу вместе с проклятой, – мрачно ответила девочка, – она хотела избить меня, но я не далась и убежала. А теперь она у Фаншон и раньше утра не придет. Вот я и забралась сюда... Я уже было обрадовалась, когда услышала ваши шаги: думала – проклятая идет; ведь теперь-то мне бояться ее нечего: у Фаншон она выпьет, а, выпивши, становится добренькой-предобренькой!

– Кто это «проклятая»? – улыбаясь спросил я. – Наверное, твоя хозяйка?

– Нет, это – моя мать, – мрачно ответила девочка.

– Деточка! – в ужасе вскричал я, – да понимаешь ли ты, что ты говоришь? Ведь смертный грех называть так мать!

Дикарка моментально пришла в бешенство.

– Убирайся! – закричала она, топая ногами и подымая сжатые кулачки. – Тоже, подумаешь, какой поп нашелся! Мне и дома-то тошно от проповедей, а тут еще всякий проходимец суется... От наставлений сыт не будешь... – Но вдруг тон ее голоса из злобного сразу стал детски-жалобным, и, поднося кулачки к заплаканным глазам, она продолжала всхлипывая: – А мне так есть хочется, так хочется!..

– Ну, вот что, деточка, – сказал я, – здесь тебе оставаться ни в коем случае нельзя. Пойдем со мной, я живу тут наверху, в комнате; у меня найдется что-нибудь съедобное, ты поешь, отдохнешь, а там мы увидим, что с тобой дальше делать.

Ее глаза заблестели голодным, жадным блеском.

– Поешь! – в каком-то мечтательном упоении протянула она. – Как это хорошо, поешь!.. Но ты не обидишь меня?

– Разве ты не видишь, что я хочу тебе только добра? – тоном мягкого упрека ответил я.

– Хорошо, я вам верю, – надменным, почти снисходительным голосом заявила девочка, а затем, подойдя ко мне и вложив свою ручонку в мою руку, повелительно сказала: – Пойдем скорее, я так хочу есть!

Через несколько минут мы уже были у дверей моей комнаты. Ключ от нее был при мне, я поспешно отпер и сказал моей спутнице:

– Погоди минутку, я сейчас зажгу огонь.

Мне очень хотелось поскорее накормить несчастного ребенка, но зажечь лампу было не таким-то простым делом. Говорят, будто какой-то немец изобрел спички, ими стоит только чиркнуть, чтобы огонь загорелся. Если это так, то для тех, кто будет читать эту правдивую повесть, добывание огня станет легким делом. Мне же пришлось сначала высечь искру из стального огнива, заставить трут затлеться от этой искры, потом взять спичку (кусочек дерева, один конец которого обмокнут в серу), зажечь от трута серу, подождать, пока она прогорит, воспламенив дерево, и уже только затем я мог приступить к зажиганию самой лампы.

Пока я возился с огнем, девочка продолжала стоять у порога. Теперь при свете лампы я уже мог разглядеть ее. На вид ей было лет тринадцать-четырнадцать, она была довольно высока и очень стройна, но казалась истомленной и изнуренной до последней степени – так худы были ее руки и ноги, выглядывавшие из кучи покрывавших ее невообразимых лохмотьев. Ее лицо, бледное, покрытое ссадинами и синяками, уже тогда обещало стать очень красивым. Особенно хороши были густые золотисто-русые, прихотливо вьющиеся волосы и нежные голубые глаза, поражавшие контрастом между кротостью обычного выражения и дикими огоньками, по временам мелькавшими в них и заставлявшими темнеть их безмятежную лазурь. Только в складке рта было что-то тревожное, отталкивающее: в невинности пухленьких губок чувствовалась жадность безжалостного, хищного зверя.

– Ну же, иди сюда, милая! – ласково сказал я. – Я сейчас приготовлю тебе поужинать!

Но девочка продолжала нерешительно стоять на пороге. Ее глаза, любопытно оглядывавшие убогую обстановку комнаты, теперь упрямо и недоверчиво потупились.

– Да иди же! Ну чего же ты боишься? – повторил я.

Девочка подняла на меня взор, и меня поразила перемена, сказавшаяся во всем ее виде: передо мной была уже не девочка, а опытная, знающая женщина.

– Вот что, – несколько неуверенно начала она, – уговор дороже денег... Я, пожалуй, пойду, только вы уж меня не троньте...

– Да неужели ты не видишь, что я хочу тебе только добра? – удивленно воскликнул я, не понимая истинного значения ее опасений.

На ее губах скользнула бледная, циничная улыбка.

– Знаем мы это добро! – иронически кинула она. – Вот лавочник Соро тоже все сманивает меня к себе. «Я, – говорит, – вам, барышня, желаю одного добра»... Но только пока еще этого не будет, и если вы рассчитываете купить меня за кусок хлеба с мясом, то...

– Замолчи! – крикнул я, с отчаянием хватаясь за голову и чувствуя, что рыдания ужаса подступают у меня к горлу. – Неужели люди были так злы к тебе, что ты уже не веришь в бескорыстное добро? Да ведь ты – ребенок, и говорить о таких ужасах...

Она не дала мне кончить. Она сразу преобразилась, и передо мной снова была маленькая девочка-дичок. Улыбаясь, она подбежала ко мне и с кошачьей ласковостью сказала:

– Ну, ну, frerette¹, не сердись, а лучше дай мне поскорее поесть. Я так голодна... Я не виновата, если мужчины по большей части все такие скверные – мало ли я натерпелась от их приставаний. Ведь я хорошенькая, а «проклятая» права, когда говорит, что в красоте и счастье, и несчастье.

Пока я разворачивал ветчину и хлеб, доставал кусочек масла, огрызок козьего сыра и молоко, моя невольная гостья, подсев к столу, доверчиво болтала с дьявольской смесью детской наивности и испорченности парижской женщины низших слоев:

– В сущности говоря, если бы ты даже и стал моим дружкой, то ничего особенно плохого тут еще не вышло бы. Все равно, не теперь, так через год... И будь я богатой, я и думать не стала бы. Но мне надо обязательно сохранить себя: ведь я готовлюсь стать актрисой.

Я резко обернулся к ней и сказал:

– Как тебя зовут?

– Адель, – ответила она.

– Ну, так вот, перестань болтать вздор, Адель, и принимайся за еду!

Девочка не заставила себя просить и с жадностью накинулась на скудный ужин, разрывая ветчину руками и глотая мясо и хлеб целыми кусками, не жуя. Видно было, что она не только проголодалась, но и наголодалась, что наестся досыта было ее давнишней, недостижимой мечтой.

¹ Братишка!

Я подсел к столу, смотрел, как она насыщается, и с горечью думал обо всем, что мне пришлось услышать от нее. В первый раз мне пришлось столкнуться лицом к лицу с истинным, неприглядным развратом большого города. Эта девочка пока еще чиста, но она уже знакома с грехом, мысленно уже извела его пучины и ждет только случая, чтобы с возможной выгодой вступить на торную дорожку срама и позора, в которых «не видит ничего особенного»! О, этот проклятый город! Каким страшным ядом пропитывают его безжалостные паучьи лапы детский мозг и невинную душу ребенка! Нищета! Ты – не порок, о, нет!., но в большом городе ты таишь в себе все пороки сразу!

Утолив первый голод, Адель с блаженным видом потянулась к бутылке.

– Гм... молоко! – критически прищурившись протянула она. – Конечно, иногда и это недурно, но, может быть, у тебя найдется глоток вина?

У меня было легкое красное вино: не знаю, как теперь, но в те времена вино стоило дешевле хлеба и составляло необходимую принадлежность каждого стола. Но как ни легко было это вино, мне казалось диким и непривычным, чтобы у ребенка могла быть потребность в нем. Однако я подумал, что ночь была довольно свежа, Адель, наверное, промерзла, так что выпить глоток вина ей и на самом деле не худо. Я достал с окна бутылку и налил Адели четверть стакана.

– Спасибо! – сказала она, одним духом выпивая вино, затем, не спрашивая моего разрешения, налила себе еще целый стакан и залпом выпила и его тоже. – Уф! – сказала она затем, – вот теперь можно и продолжать! – и она продолжала есть, пока не подобрала все до крошки.

Тогда меня даже удивило, что Адели и в голову не пришло подумать, не хочу ли и я поесть. Но впоследствии я к этому привык... Впрочем, в данный момент меня более всего поразила та легкость, с которой девочка пила вино.

– Однако! – с шутливым укором сказал я. – Разве тебе дают дома вино?

– Дома? – удивленно переспросила Адель. – Мясa у нас почти не бывает – это правда, ну, а в вине недостатка нет!

Уписывая остатки ужина, Адель рассказала мне о себе. Ее мать, Роза Гюс, была прежде мелкой актрисой и вместе с труппой изъездила всю Европу, побывав даже в далекой России. Там-то Роза и почувствовала себя матерью, но, кто был отцом ребенка, этого она наверняка сказать не могла.

– Да и немудрено, – со злой усмешкой пояснила Адель. – Ведь «проклятая» с кем только не путалась! Она и теперь готова всякому на шею броситься. Только дудки, прошло ее время – кому нужна такая гнилая пьяница!

Если с достоверностью Роза и не могла назвать отцом Адели определенное лицо, то больше всего шансов на эту честь было у русского графа, очень недавнего происхождения², а потому – заносчивого и гордого. Роза обратилась к графу с требованием обеспечить ребенка, он же вместо этого приказал выслать актрису из пределов России. Гюс-мать была на склоне молодости, когда с ней случился этот «грех». Повлияло ли это обстоятельство, или виной были крушение радужных надежд и суровая высылка, только трудные роды унесли с собой последние остатки былой красоты, и, оправившись, Роза Гюс очутилась лицом к лицу с самой неприглядной бедностью. Она стала попивать, и это заставило ее опуститься еще ниже. Ни один даже самый убогий театрик не желал теперь принять ее к себе на службу, и в последние годы старуха жила до ужаса бедно, так как источник ее доходов был слаб и шаток; она лишь вертелась за кулисами «Комеди Франсез», оказывала мелкие услуги молодым актрисам, служила посредницей между ними и поклонниками, передавала записочки от молодых и старых щеголей, прихо-

² Предполагаемым отцом Аделаиды был Лесток, лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны, возведенный в графское достоинство за переворот 1741 г., т. е. при низвержении правительства регентши Анны Леопольдовны и воцарении Елизаветы.

дила на помощь в затруднительных случаях – словом, не гнушалась никакой работой, лишь бы эта работа не требовала от нее физического труда. Но эта сомнительная работа оплачивалась очень скудно, да и привычка к рюмочке делала свое дело, так что Адель постоянно голодала. Правда, выпадали счастливые дни. Вот, например, завтра старуха будет добренькой, потому что сегодня «налижется» и получит от Фаншон, актрисы из «Комеди Франсэз», хорошо «на чай»³: Фаншон устраивает ужин для коллег, и старуха должна была присмотреть за слугами. Зато в те дни, когда не на что выпить, мать зла до ужаса и жестоко дерется по каждому пустяку. И то сказать, ей приходится очень трудно. Ну зато, когда она, Адель, подрастет, их бедствия кончатся: Адель станет актрисой, но уже не такой, как дура-мать! И погоди ж ты! Все эти синяки, царапины и побои она выместит тогда на «проклятой».

Покончив с ужином и выпив последние капли вина, Адель потянулась с видом довольной кошечки и сказала, потирая кулаками сонные глаза:

– А теперь спать, спать! Но как бы нам устроиться?

– Если ты стесняешься меня, – улыбаясь сказал я, – то это ни к чему: как ты видишь, у моей кровати имеются занавески, и, если я спущу их, так мы друг друга не увидим.

– Стесняться! – пренебрежительно кинула она. – Вот глупости! Я думаю вовсе не о том! Как ты меня устроишь?

– А вот соберу я все свое платье, покрою им помягче этот деревянный диванчик, да и спи себе с Богом!

– О, – деловито возразила Адель, – мне, право, совестно, что ты будешь так много хлопотать из-за меня! Нет, я придумала гораздо проще: я лягу на твою кровать, а ты устройся здесь. Тогда тебе не придется ничего делать для меня!

Не успел я ответить что-либо на эту хитрую наивность, как Адель обвила мою шею руками, поцеловала меня в губы и, кинув мне: «Спасибо и покойной ночи, братец!», очутилась возле кровати. Через несколько секунд занавески последней опустились, послышалось шуршание сбрасываемого платья, затем Адель принялась что-то говорить, ее голос все слабел, быстро перешел в неясное бормотанье, и через минуты две-три все замолкло.

Что касается меня, то я с комическим жестом беспомощности принялся, как умел, устраиваться на диване. Для Адели он был бы как раз по величине, но для меня слишком мал. Лежать было страшно неудобно, приходилось изображать какой-то крючок, и в эту ночь я почти не спал. Ворочаясь с боку на бок, я непрестанно думал о несчастной девочке, которую случай загнал под мою кровлю. Мне хотелось видеть в этом какой-то указующий перст: ребенок с хорошими инстинктами, с богатой натурой (по крайней мере я уверил себя, что это так), гибнет, словно растеньице, лишенное заботы и внимания. У меня много свободного времени, которое пропадает зря, в праздности и чревоугодии. Почему не посвятить этого времени несчастному ребенку, почему не постараться развить ум Адели и просветить ее душу, не ведающую Бога, не постигающую границы между добром и злом?

Мне вспомнился дядя-аббат; он, как живой, вырос передо мной со своим бледным лицом, умными глазами и доброй, мягкой улыбкой. Мне показалось, будто я вижу, что он благословляет меня на уловление этой первобытной души для Бога, и я еще тверже проникся принятым решением.

Если бы я не был так молод тогда, я понял бы, что цветок, выросший на могиле, с момента зарождения отравлен соками разложения и что не во власти слабого юноши изменить его ядовитые свойства. Я понял бы, что такой цветок нельзя спасти, самому же легко отравиться им.

Очень скоро эта роковая истина стала ясна мне. Но тогда было уже слишком поздно.

³ Автор пользуется в данном случае русским выражением, подходящим по смыслу, но текстуально неверным: чай и теперь не получил во Франции права гражданства, а в те времена им чаще пользовались только как лекарственным снадобьем.

V

Утром я вскочил с дивана по крайней мере на полчаса раньше, чем обыкновенно: перед уходом в контору надо было напоить мою случайную гостью горячим молоком с хлебом.

Я побежал в лавочку.

Она была за углом. Проходя мимо ворот, я увидел там кучку народа, обступившего небольшую, полную женщину с квадратным оплывшим лицом, синевато-багровые жилки которого говорили о ее страсти к спиртным напиткам. Она взволнованно рассказывала что-то, сильно жестикулируя руками. До меня донесся обрывок ее фразы:

– А ведь подумать только, что я лишь для нее и жила! И где мне искать ее? Париж – не такой город, чтобы добровольно отдавать свои жертвы!

Услыхав, что слушатели называли женщину «мадам Розой», я понял, что передо мною мать Адели, Роза Гюс. Я торопливо подошел к ней и спросил:

– Если не ошибаюсь, вы – госпожа Гюс?

– Я самая и есть, – с заискивающей улыбкой, моментально сменившей выражение театрального пафоса, ответила мне мамаша Гюс. – А чем могу служить вам, мой молодой барчонок?

– Я слышал, что вы беспокоитесь о пропавшей дочери. Так не волнуйтесь: Адель жива и здорова, она у меня.

Я не ожидал, что мои слова произведут такой громоподобный эффект. В первый момент Роза только раскрыла рот и выпучила глаза. Но затем сейчас же ее лицо покрылось густым, словно апоплексическим, румянцем бешенства и, ухватившись цепкими пальцами за мой рукав, мегера отчаянно завопила:

– Полицию сюда, полицию! Господа, будьте свидетелями: этот негодяй завлек мою дочь... Полицию! Полицию!.. Да разве я для тебя берегла и холила ее?

– Полно вам вздор-то молоть! – сурово оборвал старуху коридорный нашего этажа. – От месье Гаспара еще никто ничего худого не видал, и если девчонка у него, так вам надо благодарить за это Бога!

– Как вам не стыдно! – крикнул и я, со злостью вырывая свой рукав из цепких пальцев мегеры. – Хороша мать, у которой только одни гадости на уме! Нечего сказать, научите вы добру свое дитя! Вы лучше не выгоняли бы ее на улицу, чем набрасываться на добрых людей, которые пожалели обиженную крошку. Ну что же, зовите полицию, я по крайней мере спрошу, имеет ли право мать выгонять девочку-подростка на всю ночь из дома, толкая ее прямо в лапы разврата! – и в бешенстве я стал осыпать старуху бранью, угрозами и проклятиями.

Не обращая внимания на мою брань, она радостно схватила меня за руки и затараторила:

– Так с бедной крошкой ничего не случилось? О, простите меня, дорогой месье, не судите строго несчастную мать, на которую и без того сыплются все кары земные и небесные! Мало ли чего не скажешь с отчаяния! Но вы, такой молодой, образованный господин, не можете сердиться на нищую старуху, у которой на свете нет ничего, кроме ее дорогой крошки! Где же она? О, дайте настрадавшейся матери поскорее прижать к сердцу свое дитя, которое она уже считала потерянным!

В голосе, манерах и позе Розы было столько театральной напыщенности, что мне стало невыразимо противно. Брезгливо вырвав руки, я угрюмо сказал ей:

– Адель у меня в комнате. Коридорный Жан проводит вас. Идите за ней!

Затем я повернулся и ушел в лавочку.

Когда я вернулся с хлебом и горячим молоком, Адель была еще у меня. Подходя к двери, я услышал обрывки ее разговора с матерью. Старуха говорила льстиво и заискивающе, Адель отвечала ей сухими, злобными репликами.

Не успел я поставить молоко и хлеб на стол, как Адель с радостным криком бросилась ко мне на шею и крепко поцеловала меня прямо в губы. Это был поцелуй младшей сестренки, поцелуй ребенка, и все-таки эта ласка заставила меня вздрогнуть и слегка отстранить от себя девочку.

– Я не хотела уходить, не повидавшись с тобой, братишка! – с кошачьей ласковостью говорила мне тем временем Адель. – Я тебе так благодарна, так благодарна!

Мать сделала какое-то движение, явно собираясь присоединиться к благодарностям дочери, но я угрюмо отвернулся от нее и сказал Адели:

– Вот молоко и хлеб, Адель, ты, должно быть, голодна! Перестань болтать и кушай поскорее; мне пора в контору!

Не заставляя себя упрашивать, Адель весело подскочила к столу, уселась на высокую табуретку и, болтая ногами, принялась уписывать молоко с хлебом. В это время Роза подошла ко мне и сказала с тронувшей меня простотой:

– Простите меня, господин Гаспар, что я наговорила вам разных гадостей! Бедность и несчастья так издергали меня, что я хожу словно сама не своя. Иной раз сама говорю что-нибудь, а внутри меня другая «я» сидит, которая слушает да удивляется. Вот иной раз бедной Адели от меня попадает, а ведь на самом деле я так горячо люблю ее.

– Меньше бы любила, да чаще кормила бы! – кинула Адель, запихивая себе в рот остатки булочки: эта маленькая обжора снова ничего не оставила мне!

– Я несколько не сержусь на вас, мадам, – ответил я Розе. – Я отлично понимаю, что вы взволновались за дочь. Меня только взбесило, что вы, будучи сами виноваты, накидываетесь на человека... Ну, да дело прошлое, не будем вспоминать о том, что было: я ведь тоже у вас в долгу не остался!

– Так докажите на деле, что вы не сердитесь! – с обрадованным видом подхватила старуха. – Поешьте сегодня с нами!

– Но, мадам... – смущенно начал я.

– Ну да, вас затрудняет наша бедность, вы боитесь обездолжить нас? Но я очень прошу вас: не обижайте нас и примите мое приглашение. Мое положение теперь значительно улучшилось, а кроме того, мне надавали от вчерашнего пира столько вкусных вещей, что мне есть чем понастоящему принять вас. Умоляю вас, дорогой меесье, не отказывайтесь!

Мне не очень-то улыбалась мысль угощаться обедками актрис и кутил, но, когда я посмотрел на Адель, в ее голубых глазах блеснула такая мольба, что я не нашел в себе сил отказаться. И я принял предложение, после чего голодный ушел в контору: по дороге можно было чего-нибудь купить и тут же съесть.

VI

Вернувшись из конторы, я спустился к назначенному часу вниз, где помещалась квартира Гюс. Я постучался – никто не ответил мне на стук; заметив, что дверь открыта, я вошел в первую комнату.

Все здесь говорило об ужасной бедности. Некрашенный деревянный стол, такие же табуретки и ободранный шкаф составляли всю ее меблировку. Но я сразу заметил, что к моему приходу готовились: стол, табуретки и пол были вымыты и выскреблены начисто, и кое-где еще виднелись пятна неперсохшей воды.

В комнате никого не было, а из соседней доносились голоса. Я кашлянул, но ответа не было. Прислушавшись, я различил голос Адели, декламировавшей:

Мрачно ехал он в думах микенским путем,
Безнадежной рукой...

– Не то, Адель, совершенно не то! – каким-то отчаянием зазвенел голос ее матери.

Я был поражен. Еще недавно я по протекции Сесиль слышал «Федру», знаменитую трагедию Расина, а любимица жуирующего Парижа Фанни Молле (в просторечии: Фаншон) произносила эти самые слова несравненно хуже и бледнее, нежели теперь это делала Адель. Чем же недовольна старая Гюс?

Ее дальнейшие объяснения развеяли мое недоумение.

– Ты подумай только, – сказала она, – ведь тут должна выразиться целая смесь чувств. Она и злобствует, и раскаивается, она ненавидит Ипполита, но в то же время и любит его. Она принижена его отпором, но не может забыть, что она все-таки царица. В каждом слове двойная игра чувств и страстей... Ну, повтори это еще раз, милочка!

Адель снова начала:

– «Мрачно ехал»...

– Да как ты не понимаешь, – со страданием перебила ее мать, – что все дело не в том, что он «ехал», а что он ехал «мрачно»? А ты ставишь ударение...

– Мне это надоело, мать, я устала! – капризно заявила Адель.

– Что же делать, дочка? – ответила мать. – Какие бы у тебя ни были способности к сцене, а без упражнений ты ничего не добьешься! Для того, чтобы сделаться истинной актрисой, мало одного таланта!

– Ну, вот еще! – послышался капризный голосок Адели. – У Фаншон нет ровно никакого таланта, а между тем она пользуется огромным успехом! Я достаточно красива, чтобы сделать карьеру не хуже чем у нее...

– Голубушка! – перебила ее мать. – Да ведь если Фаншон сегодня подурнеет, так ее завтра же прогонят со сцены! Да и цена женщине совсем другая, если она и красива, и талантлива!

Не могу передать вам, какой острой болью отозвались в моем сердце эти разговоры. Все протестовало во мне: да ведь Адели нет еще и пятнадцати лет! Боже мой, Боже мой, что же будет с ней, когда она вступит на дорогу созревшей женщины!

Я не мог слушать долее и осторожно, на цыпочках, выбрался за дверь. Неужели нельзя спасти Адель?

«О, нет, можно, – кричала во мне самоуверенность юности, – надо только не складывать рук, не отступать перед препятствиями».

Постояв несколько минут за дверью, я снова вошел в комнату, но на этот раз громко стукнул дверью, чтобы обратить внимание хозяек на свой приход.

– Ба, да это – братишка! – весело крикнула Адель, высовывая голову на мой стук. – Иди, иди, голубчик, мы сейчас! – и она вместе с матерью вышла из комнаты и сейчас же принялась хлопотать над убранством стола к ужину.

Как объяснила мне старуха Гюс, вчера у Фаншон почему-то собралось народа вдвое меньше, чем ждали, а потому много кушаний остались не только нетронутыми, но даже неподанными к столу. Но это еще что!., самое важное то, что благодаря Фаншон ей, Розе Гюс, удалось получить место смотрительницы дамских уборных, а это уже дает ей хотя и не очень большой, но верный заработок. Говоря все это, старуха расставляла на столе, покрытом рваной, но чистой скатертью, жареную птицу, паштеты и прочие деликатесы, в чем ей оживленно помогала Адель.

Я сидел в уголке, подавал короткие реплики на слова старухи и любовался редкой грацией всех движений девочки. Каждый шаг и жест, манера братья за тарелку, поворот головы, когда Адель осматривала стол, – все было полно гармонии и изящества. А подвижность ее лица, отражавшего все случайные настроения!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.